



**Н. В.  
УСПЕНСКИЙ**



# Николай Васильевич Успенский

## Зимний вечер

«Среди крестьянского двора, во многих местах разрушенного, стояли занесенные снегом, шершавые клячи и овцы, подбирая солому; под навесом жались воробьи, колыхалось замерзлое белье, валялись обледенелые колеса, плетушки и разная рухлядь. Баба в худеньком кафтане, высоко подпоясавшись тряпкой, несла вязанку хворосту; шла метель; с поветей валил снег и крутился по двору...»

**Николай Васильевич  
Успенский  
Зимний вечер**

Были сумерки. Голопятовка с своими сараями, закопченными избами и овинами утопала в сугробах. На реке у почерневшей проруби стояли бабы с толстыми, завернутыми в тряпки ногами: мимо них, с граблями через плечо, шел мужик, осыпанный мякиной; вдали тихо гудел побелевший лес.

Среди крестьянского двора, во многих местах разрушенного, стояли занесенные снегом, шершавые клячи и овцы, подбирая солому; под навесом жались воробьи, колыхалось замерзлое белье, валялись обледенелые колеса, плетушки и разная рухлядь. Баба в худеньком кафтане, высоко подпоясавшись тряпкой, несла вязанку хворосту; шла метель; с пове­тей валил снег и крутился по двору.

В голопятовскую улицу въезжал с хриплым криком торгош. Он остановил лошадь и вошел в темную избу задолжавшего ему мужика. Сняв шапку, торгош крикнул:

– Кто дома?

На печи раздался удушливый кашель больной старухи; на земляном полу чавкал поросенок.

– Бабка! дома Митрей?

– Чего-о? Нетути его, кормилец... – шурша соломой, ответила старуха, – четырнадцатый денек уехал в Москву.

И старуха опять закашляла.

Пробираясь сугробами мимо плетней, шла птичница к скотнице посумерничать и застала ее сидевшую с подойником под короною в кухне, в которой было так тихо, что, кроме сверчка и шумевшего подойника, ничего не было слышно.

– Здорово живешь, Митревна, касатка, – сказала птичница.

Становилось темнее и темнее. Торгаш с заиндевелою бородой все ходил по дворам, отыскивая должников; в избах окна были запущены снегом и царствовал совершенный мрак.

– Эй, кто здесь? – спрашивал мещанин, пригибаясь под дверью.

Никто не откликался.

– Михей! Ишь, словно всех выбило...

– Анисим! – кричал он в другой избе; но, кроме жевания коровы у печи, ничего не получал в ответ, – чтоб вас совсем!..

Торгаш уходил.

Кое-где в окнах появились огоньки; время от времени по реке, темной полосой, пробежали порожные сани и слышались замиравшие голоса...

В широкой избе, с ручьями на стенах, с снегом на окнах, горела лучина; на лавках сидело несколько баб и старух за пряжей, опускающая чуть не до земли жужжавшие веретена; лицом к стене стоял пасмурный, худой шерстобой, громыхая толстой струной; на полотах виднелась черная голова; на печи лежали два солдата, один лицом вверх, другой – вниз; у стола вил веревки парень, часто бросая работу и потирая локтями свои бока. Шел разговор:

– Уж и стыдь, бабы...

– Федосья! ты, чай, уж выткала свои кросна-то?

– Не все... много остачи...

– Посмотрю я на тебя: завистлива прясть, девка... шутка ли, три холста напярала! да и прядево у тебя... Бабушка! погляди-ко у ней холстину-то...

– Ну-ко, – досучивая нитку, отвечала старуха, – сударики мои! миткаль, как есть...

В избе вошла баба с донцем и посиневшим мальчиком. Она подняла вверх руку и проговорила:

– У вас тепло таки! а я пришла посидеть... дома-то у нас никого нет. Что, ваши мужики не приезжали?

– Нет, Антоновна; ждем не дождемся.

– А я сейчас шла – такая-то несет!.. у ваших ворот снегу набило, – никак не пролезешь... да и сиверко!

Баба вздрогнула и стала усаживаться.

– Так-то думаешь, думаешь – господи! хоть бы уж скорее помереть... – говорила одна старуха, – что живешь? ни тебе радости, ни тебе покою...

– А молиться небось не любишь! – подхватил шерстобой, – охать охаем, а душе помину нет! Вот осуждать – наше дело!

Шерстобой сильно забил струною; один из солдат приподнял голову и посмотрел на него с печи.

Две молодые бабы тихонько говорили между собой:

– Ну, что же золовка-то?

– А золовка-то ей и баяла: ты тепереча в тя-

гостях, ты бы подумала о себе: век жить – не поле перейти.

Рассказчица сняла с нити кострику.

– Ну, а деверь-то?

– Деверь, голубчик ты мой милый, так гонит ее, со света сжил! Уж что: не жизнь – сок-руха одна...

– Здравствуй, спешна работа! – заговорила входившая баба с горшком, – а я за огнем к вам... все ждем мужиков... сейчас бежала, глянула туда, к городу-то, не едут ли наши? нет!.. только буря стонет...

– Что прядешь, Марья?

– Да что прядь-то? ни былинки нет... видно, так останемся...

Баба начала зажигать огонь.

– А что-то, я шла, погластилось мне, будто у вас в закуте пищит ровно... отробь взяла; а после подумала: дескать, не поросята ли?

– Эй, эй, Ефим! встань! – заговорила одна баба, тряся за волосы мужика на полатях, – встань, говорят, сходи в закуту!

– Что там еще выдумала!.. – сказал мужик и спрятал голову.

Один солдат спокойно рассказывал своему



товарищу:

– Вот и говорит нам: «Выучите вы, удалы-цы, песню:

*Ребята! слава впереди,  
Душа кипит в восторге...  
У каждого верно на груди  
Зависит Георгий...*

Потому, давно в вас сугубая готовность к жертвам и насчет отечества дух Минина!» Мы тут как грянем:

*Что под дождиком трава,  
То солдатска голова!*

– А что, бабка, не пора ли нам ужинать? – спросил другой.

– Сейчас, родимой.

– А-их, господи!.. жизнь-то человеческая... Сергевна, посмотрю я...

– Да!.. – насаживая на гребень намычку, сказала одна из старух.

Бабы начали хлопотать об ужине. Компания стала расходиться.

– Пойду, Еремеевна, домой; завтра на барщину надо.

– Пойду и я. Прощайте!

Буря не утихала; на деревне лаяли собаки, и где-то далеко сквозь снежные вихри звенел колокольчик. Все в деревне спало под жалобную голосьбу ветра; разве где-нибудь мерцал огонек и за пряжей сидела бессонная старушка.